

# Экономическая модель в социальных науках

1981

*Доклад, который был прочитан в 1981 году в Парижском университете*

Почему диалог между экономистами и социологами вызывает столько недоразумений? Несомненно потому, что встреча двух дисциплин — это встреча двух личных историй, а следовательно, двух разных культур: каждая расшифровывает то, что говорит другая, исходя из собственного кода, из собственной культуры.

Прежде всего, понятие «интерес». Я обратился к этому слову скорее, чем к другим более или менее эквивалентным, как то: инвестиция, *illuſio*, чтобы обозначить разрыв с наивно идеалистической традицией, которая пронизывает социальную науку и её наиболее распространённую лексику (мотивация, ожидания и тому подобное). Банальное в экономике, это слово производило эффект разрыва в социологии. Соответственно, я не придавал ему того смысла, который обычно придаётся экономистами. Далёкий от того чтобы быть некоего рода антропологической, естественной данностью, интерес в его исторической спецификации есть произвольное установление. Не бывает одного интереса, но есть интересы, изменяющиеся в зависимости от времени и места почти до бесконечности. Я сказал бы, применяя мою терминологию, что существует столько же интересов, сколько полей, как исторически сложившихся пространств игры с их специфическими институциями и собственными законами функционирования. Существование специализированного и относительно автономного поля коррелирует с существованием специфических целей и интересов: через инвестиции неразрывно экономические и психологические, которые они вызывают у агентов, наделённых определённым габитусом, поле и его цели (сами являющиеся продуктами отношений силы и борьбы за изменение этих отношений, которые есть составляющие поля) производят инвестиции времени, денег, труда и так далее. (Следует отметить, что существует столько же форм труда, сколько полей, и нужно уметь рассматривать виды светской деятельности аристократа или религиозной деятельности священнослужителя или раввина в качестве специфических форм труда, ориентированного на сохранение или увеличение специфических форм капитала.)

Иначе говоря, интерес есть одновременно условие функционирования поля (специфического поля, поля «высокой, моды» и тому подобных) в качестве того, что заставляет людей «шевелиться», конкурировать, соперничать, бороться, и продукт этого функционирования. Чтобы понять особую форму, которую принимает экономический интерес (в узком смысле слова) недостаточно исследовать природу, составлять, как это делает Беккер (с прелестной

бессознательностью, подразумевающей прелестное бескультурье) основополагающее уравнение матримониальных обменов, игнорируя все работы этнологов или социологов по данному вопросу. В каждом случае речь идёт о том, чтобы наблюдать форму, принимаемую в каждый данный момент истории той совокупностью исторических институций, констатирующих рассматриваемое экономическое поле, и форму, которую принимает экономический интерес, диалектически связанный с этим полем. Например, было бы наивно пытаться понять экономическое поведение трудящихся в современной французской промышленности, не вводя в определение интереса, направляющего и мотивирующего это поведение, не только состояние юридических институций (право на собственность, право на труд, коллективные договоры и так далее), но также и смысл преимуществ и прав, полученных в предшествующей борьбе. Интерес может в отдельных пунктах опережать состояние юридических норм (права на труд, например), а в других пунктах идти с опозданием по отношению к завоеваниям, формально кодифицированным, лежащим в основе возмущения, требований и тому подобное. Определённый таким образом интерес является продуктом одной категории, определённой социальными условиями: будучи исторической конструкцией, он не может быть познан иначе, как через историческое знание, *ex post*, эмпирически, а не выведен *a priori* из трансисторической природы.

Любое поле как исторический продукт порождает интерес, являющийся условием его функционирования. Это истина самого экономического поля, которое как пространство относительно автономное, подчиняющееся собственным законам, наделённое специфической аксиоматикой, связанное с самобытной историей, производит особую форму интереса, который является частным случаем универсума возможных форм интереса. Социальная магия может представить почти что угодно как интересное и сделать из этого цель борьбы. Можно перенести на экономическую область исследование Мосса на тему магии и, отказавшись от поиска первопричины экономической власти (или капитала) в том или ином агенте или системе агентов, в том или ином механизме, той или иной институции, задаться вопросом, не является ли первопричиной, порождающей эту власть, само поле, то есть система различий, являющихся составляющими его структуры, и различных диспозиций, различных и даже антагонистических интересов, которые оно вызывает у агентов, помещённых в различные позиции в этом поле и стремящихся его сохранить или трансформировать. Это значит, помимо прочего, что предрасположенность играть в экономическую игру, инвестировать [капиталы] в экономическую игру, которая [предрасположенность] является продуктом определённой экономической игры, лежит в самой основе существования этой игры. Вещь, о которой забывают все виды экономизма.

Экономическое производство функционирует лишь в той мере, в которой оно производит сначала веру в ценность своих продуктов (как об этом свидетельствует факт, что сегодня в самом производстве доля труда, предназначенного на производство потребности в продукте, не перестаёт возрастать) и ещё веру в ценность самой производственной деятельности, иначе говоря, например, интерес, скорее, к *negotium*, чем к *otium*. Проблема, проявляющаяся конкретно, когда противоречия между логикой институции, ответственной за производство производителей, то есть Школы, и логикой экономической институции, способствуют возникновению новых отношений к труду, которые иногда описывают — в полной наивности — как «аллергию на труд» и которые проявляются как исчезновение гордости за профессию, профессиональной чести, вкуса к хорошо выполненной работе и

тому подобное. Можно обнаружить, таким образом, ретроспективно — поскольку они перестают быть сами собой разумеющимися — диспозиции, которые составляли часть негласных и, следовательно, пропущенных в научных уравнениях, условий функционирования экономики.

Такие относительно тривиальные суждения могли бы привести, если их развивать, к менее тривиальным выводам. Можно было бы увидеть, например, что через юридически гарантированную структуру распределения собственности, а значит — власти в поле, структура экономического поля, определяет всё то, что в нём происходит и, в частности, формирование цен или заработной платы. И потому борьба за модификацию структуры экономического поля, которую называют политической, есть составная часть предмета экономической науки. Не существует такой главной ставки в конфликте между экономистами (вплоть до критерия стоимости), которая не была бы ставкой борьбы в самой реальности экономического мира. И поэтому со всей строгостью экономическая наука должна была бы включить в само определение стоимости то, что критерий стоимости есть ставка борьбы, вместо того чтобы стремиться отсечь одним махом эту борьбу с помощью якобы объективного вердикта и попытаться найти истину обмена в субстанциональном свойстве обмениваемых товаров. Это не столь уж незначительный парадокс — найти способ субстанционального мышления в понятии труда как стоимости у самого Маркса, разоблачавшего в фетишизме образцовый продукт склонности приписывать свойство быть товаром физическим вещам, а не отношениям, которые они устанавливают с производителем и потенциальными покупателями.

Я не могу заходить дальше в своих рассуждениях, как следовало бы, будучи ограниченным рамками короткого полуимпровизированного выступления. И должен перейти ко второму обсуждаемому понятию — стратегия. Этот термин я также применяю не без колебаний. Он побуждает к фундаментальному паралогизму, заключающемуся в том, чтобы дать модель, представляющую объяснения реальности, как составную часть описанной реальности, забывая про формулу «всё происходит так, как если бы...», которая определяет собственный статус теоретического дискурса. Точнее, этот термин склоняет к наивно финалистской концепции практики (той, что поддерживает обыденное употребление таких понятий, как «интерес», «рациональный расчёт» и тому подобное).

На самом деле все мои усилия, напротив, имеют целью показать (как, например, с понятием габитуса) то, что поведение (экономическое или другое) принимает форму эпизода, ориентированного объективным образом по отношению к цели, не являясь с необходимостью продуктом ни сознательной стратегии, ни механической детерминации. Агенты в некотором роде, скорее, натываются на собственную практику, чем выбирают её свободно или подталкиваются к ней путём механического принуждения. Если дело обстоит именно так, то потому, что габитус — система диспозиций, полученных через отношение с некоторым полем, — становится действующим, оперирующим, когда встречается с условиями для своего полезного действия, то есть с условиями, тождественными или аналогичными тем, продуктом которых он является. Габитус становится генератором практик непосредственно подлаженных под настоящее и даже под будущее, вписанное в настоящее (отсюда и иллюзия финальности), когда он находит пространство, предлагающее как объективные шансы то, что он в себе несёт в качестве естественной склонности

(сберегать, инвестировать и тому подобное), предрасположенности (к расчёту и тому подобное), поскольку он сформировался через инкорпорацию структур сходного универсума (научно воспринимаемых как возможности). В этом случае достаточно, чтобы агенты предоставили свободу действий своей «натуре», то есть тому, что история из них сделала, для «натуральной» подлаженности под исторический мир, с которым они столкнулись, чтобы делать то, что нужно для осуществления будущего, потенциального вписанного в этот мир, где они чувствуют себя, как рыба в воде. Противоположный пример — Дон-Кихот, который применял в экономическом и трансформированном социальном пространстве габитус, являвшийся продуктом предыдущего состояния этого мира. Но было бы достаточно подумать о старении.

Не забывая о всех случаях габитуса рассогласованного, поскольку условия, продуктом которых он является, отличаются от условий, в которых он должен функционировать, как в случае с агентами — выходцами из докапиталистических обществ, когда они оказываются брошенными в капиталистическую экономику. Большинство действий являются объективно экономическими, не будучи субъективно экономическими, не будучи продуктом рационального экономического расчёта. Они суть продукт встречи между габитусом и полем, то есть между двумя историями более или менее полностью подходящими. Достаточно подумать о языке и о ситуации двуязычия, когда хорошо подкованный собеседник, обладающий в одно и то же время и лингвистической компетенцией, и практическим знанием условий оптимального применения этой компетенции, предвосхищает случаи, в которых он может использовать тот или другой из двух своих языков с максимальной выгодой. Тот же собеседник меняет выражения, переходя от одного языка к другому, не давая даже себе в этом отчёта, в силу практического освоения законов функционирования поля (функционирующего как рынок), в котором он размещает свою лингвистическую продукцию. Таким образом, столь же длительное время, в течение которого габитус и поле согласованы, габитус «прекрасно ложится» и вне всякого расчёта, его антиципации опережают логику объективного мира.

Именно здесь следует поставить вопрос о субъекте расчёта. Габитус, являющийся порождающей основой реакций, более или менее адаптированных к требованиям поля, есть продукт целой индивидуальной истории, но также — через опыт воспитания в раннем детстве — всей коллективной истории семьи и класса: в частности, через опыт, в котором выражается наклон траектории всей родственной линии, принимающий порой форму видимого и резкого падения или, напротив, проявляющийся только в неощутимом снижении. Иными словами, мы также далеки от атомизма Вальраса [1], не оставляющего никакого места для структуры, обоснованной по преимуществу экономически и социально, как и от того сорта сырого культурализма, который приводит социологов типа Парсонса, к утверждению существования общности предпочтений и интересов. В самом деле, каждый экономический агент действует в зависимости от собственной системы предпочтений, но она отличается от системы предпочтений общей для всех агентов, помещённых в равные экономические и социальные условия, лишь второстепенными признаками.

Различные классы систем предпочтений соотносятся с классами условий существования, а значит с экономическими и социальными обусловленностями, навязывающими различные схемы восприятия, оценивания и действия. Индивидуальные габитусы суть продукты

пересечения частично независимых причинных рядов. Очевидно, что субъект — это не Его, растворённое в своего рода единичном cogito, но индивидуальный след всей коллективной истории. Кроме того, большинство сколько-нибудь значимых экономических стратегий (заключение брака в докапиталистических обществах или покупка недвижимости в таких обществах, как наше) являются результатом коллективного решения, в котором могут отражаться отношения силы между участвующими сторонами (например, супругами), и через них — между борющимися группами (родственные линии происхождения супругов или группы, определённые по экономическому, культурному и социальному капиталу, принадлежащему каждой из них). На самом деле, невозможно знать, кто субъект окончательного решения. Это верно также и при исследовании предприятий, которые функционируют как поля, так что место решения — везде и нигде (в противоположность иллюзии о «решателе» принимающем решение), лежащей в основе многих частных исследований о власти).

Чтобы закрыть эту тему, следует спросить себя, не имеет ли иллюзия универсального экономического расчёта оснований в реальности. Наиболее отличающиеся экономики: экономика религии с логикой приношения, экономика почёта с обменом дарами и ответными дарами, вызовами и контрударами, убийствами и отмщениями и так далее, — могут подчиняться частично или полностью экономическому принципу и допускать форму расчёта, *de ratio*, с целью обеспечить оптимизацию соотношения издержки/прибыль. Так, например, обнаруживается поведение, которое можно понять как инвестиции, направленные на максимизацию выгоды в различных экономических мирах (в широком смысле), в молитве или жертвоприношении, которые подчиняются, порой эксплицитным образом, принципу *do ut des*, но также и в логике символических обменов, со всеми типами поведения, воспринимавшимися как расточительность столь же долго, как долго это поведение измерялось экономическими принципами в узком смысле.

Универсальность принципа экономии, то есть *ratio* в смысле оптимального расчёта, который делает возможным рационализировать любое поведение (достаточно подумать о «мельнице заклинаний») [2], побуждает поверить, что можно привести все существующие экономики к логике единой экономии: через обобщение частного случая сводят все экономические логики и, в частности, логику экономик, основанных на отождествлении экономических, политических и религиозных функций, к совершенно особой логике экономической экономики, в которой экономический расчёт ориентирован эксплицитным образом по отношению к целям исключительно экономическим, которые ставит самим своим существованием экономическое поле, конституированное как таковое на базе замкнутой аксиомы в тавтологии «дела есть дела». В этом и только в этом случае экономический расчёт подчинён чисто экономическим целям максимизации чисто экономической выгоды, а экономика является формально рациональной и в целях, и в средствах. В действительности, такая безупречная рационализация никогда не была осуществлена и было бы просто показать, как я хотел это сделать в своей работе о патронате, что логика накопления символического капитала присутствует даже в наиболее рационализированных секторах экономического поля. Не говоря уже о мире «чувств» (одним из наиболее предпочтительных мест для которого является, конечно, семья), избегающего аксиом типа «дела есть дела» или «в делах нет места для чувств».

Наконец, нужно было бы рассмотреть, почему экономическая экономика не перестаёт завоёвывать новые позиции по отношению к экономикам, ориентированным на неэкономические цели (в узком смысле) и почему в таких обществах как наше экономический капитал является доминирующим видом капитала по отношению к символическому, социальному и даже культурному капиталам. Это потребовало бы очень долгого анализа и нужно было бы, например, проанализировать основания существенной нестабильности символического капитала, который, основываясь на репутации, на мнении, на представлении («Почёт, — говорят кабилы, — как семена репы»), может быть утрачен при подозрении, критике и особенно труден для передачи, объективации, слабо ликвиден и тому подобное. На самом деле, особое «могущество» экономического капитала держится, возможно, на том, что он допускает экономию экономического расчёта, экономию экономики, то есть рационального управления, работы по сохранению и передаче, что он является, другими словами, более простым для рационального управления (что можно наблюдать при его движении: деньги и тому подобное), для расчёта и предвидения (что делает его неразрывно связанным с расчётом и математической наукой).

## Примечания

1 Вальрас Леон Мари Эспари (1834–1910), швейцарский экономист, построил общую экономико-математическую модель народного хозяйства.

2 В буддизме — цилиндр, внутри которого находятся бумажные листочки с заклинаниями.

---

Версия #1

Зверобой создал 18 января 2026 04:25:43

Зверобой обновил 18 января 2026 04:27:06